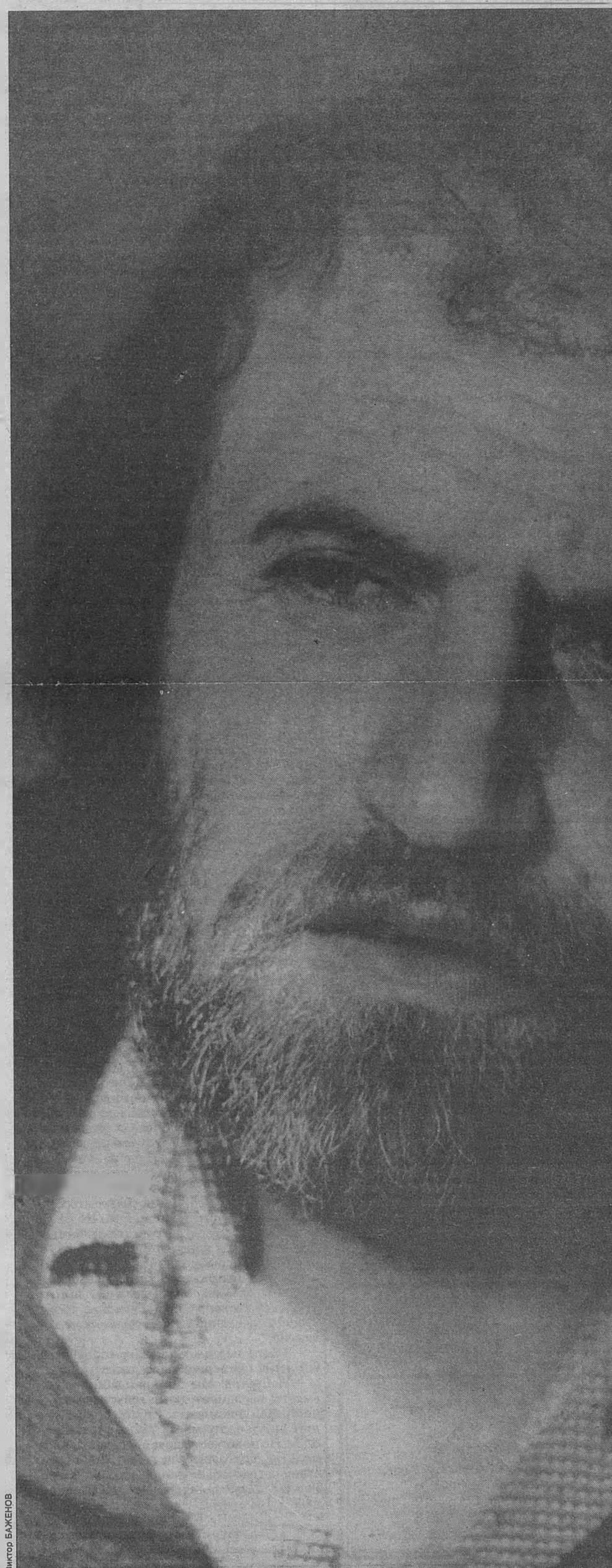


Моск. новости, 1999, 26 июня, 3-й экз., с. 15



Дэва

Давиду Боровскому — 60.

Голова художника — это про него. Сразу видно. Великолепно выполнена. Неожиданной капризной волной очерченный рот. Губы почти не артикулируют звук, а цедают.

Он из породы «тышлеров», в прямом переводе — столяров. Работяга, мастеровой. Вполне рабочему он обошелся и с пространством сцены. Он превратил подмостки в мастерскую, в которой под рукой есть все необходимое. Тут тебе и ад подземелья, и небо колосников. Сотворец и соавтор Любимова и всего того, что называют Таганкой. Он одушевил ее кривую белесую стену, каждый сантиметр ее игрового поля. Как и многие замечательные театральные художники этого века, он из Киева. Там встретился с Варпаховским, через него прикоснулся к Мейерхольду, почувствовал вкус к крупным театральным идеям. Спектакли Брука в постсталинской Москве киевский провинциал смотрел в буквальном смысле слова на коленях. Ржавое железо и кожа, в которые был одет Шекспир, поразили. Вот тогда, может быть, зародилась его фабрика метафор, неутомимо работающая почти три десятилетия.

Его излюбленные материалы всегда натуральны. Дерево, шерсть, кожа несут в себе тепло живой жизни. Они были и будут всегда. Грубо сотканный занавес таганковского «Гамлета» стал главной метафорой целой театральной эпохи. Его даже предлагали поставить в программке перед Гамлетом—Высоцким и перед Любимовым—режиссером как главное действующее лицо.

Это был движущийся образ нашей земли и тюрьмы, нашей свободы и обреченности.

Впрочем, красотой он никогда не произносит. Найдется всегда что-нибудь гораздо более простое и внятное. Словами он пользуется так же неожиданно и талантливо, как деревом или кожей. Подмостки для него мастерская, а сам театр — это шпана, шарага, ватага или артель. Он и есть самый что ни на есть артельный. Сидит в темноте зрительного зала, что-то шепчет режиссеру, колдует с воздухом, вещами, светом. Если режиссер не откликается, он снижает — понимает, что делать ему в этом театре нечего.

Его нравственное чутье безошибочно. Это все знают. Он давно уже стал не просто мастеровым, но цеховым, блюдущим интересы своих «тышлеров». Во многом благодаря ему цех театральных живописцев сложился как особого рода организм, каста или семья. При нем гаснут так знакомые нашей среде хищные инстинкты, соперничество, злословие. В это трудно поверить, но это так.

Он в центре круга, как и положено ему по имени. Давид — это ведь не только царь и основатель династии, но еще и всеобщий «любимец».

В последние годы он завис в воздухе, как шагаловский персонаж. Разбежалась его шарага, разлетелась, рассыпалась. Пропала артель. Идут на Таганке суды и пересуды, сочиняется последняя и бесконечно грустная метафора уходящей театральной эпохи. Жизнь после жизни. Вися в безвоздушном пространстве, он сохраняет достоинство. Ему не надо суетиться. «Тышлеру» работы хватит. Только б сердце не подвело.

Одни его зовут Дэвик, другие — Дэва. Те, кто помладше, именуют Давидом Львовичем. Какое торжественное библейское сочетание и какая мощь!

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ